

ЯД ДЛЯ ИСТИННОЙ



АЛИНА ЛИКС

Алина Ликс

Яд для истинной

«Автор»

2026

Ликс А.

Яд для истинной / А. Ликс — «Автор», 2026

Вера Астахова — тридцатисемилетний врач-токсиколог. Она умирает в приёмном покое и приходит в себя в теле восемнадцатилетней участницы королевского Отбора. Чужое тело уже отравлено, а за первым дворцовым ужином умирает другая невеста. Лаборатории нет. Читать на местном языке Вера не умеет. Зато умеет замечать симптомы, считать дозы и не верить в удобные проклятия. Чтобы выжить, ей придётся выяснить, куда исчезают выбывшие девушки и почему все улики раз за разом указывают на неё. Единственный, кто готов вести настоящее расследование, — регент Айрен вер Драгош. Но одно случайное прикосновение пробуждает запрещённую метку истинной пары. Теперь прикоснуться друг к другу — значит попасть на плаху, отдалиться — медленно погубить Веру, а довериться — сыграть по правилам человека, который, возможно, и призвал её в этот мир.

© Ликс А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужое тело	5
Глава 2. Двадцать четыре	8
Глава 3. Дознаватель	12
Глава 4. Ледник	16
Глава 5. Двадцать три	19
Глава 6. Сделка	23
Глава 7. Истории болезни	28
Глава 8. Первое испытание	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Алина Ликс

Яд для истинной

Глава 1. Чужое тело

Девушке на каталке восемнадцать, может, девятнадцать. Зрачки с булавочную головку. Кожа холодная и мокрая, как стекло в ноябре. Пульс сто шестьдесят и рваный, будто кто-то внутри неё торопится и всё время сбивается со счёта.

— Два периферических доступа. Монитор, сахар, газы, электролиты. Кислород, аспиратор и набор для интубации сюда. Пока не защитим дыхательные пути, желудок не трогаем. И найдите мне пачку от этого чая, слышите? Не описание, а пачку.

Мы работаем. Мы делаем всё правильно. Я вижу по монитору, что мы не успеваем, ещё до того, как это понимают руки.

Дальше есть провал.

Я помню только, что в какой-то момент подняла голову — и на меня из-под мокрой чёлки посмотрели чужие глаза. Не её. Взрослые, спокойные, чуть насмешливые. Так смотрит человек, который стоит в дверях и ждёт, когда ты закончишь и наконец обратишь на него внимание.

Я моргнула.

И темнота.

* * *

Первое, что возвращается, — тряска.

Меня трясёт мелко и мерзко, снизу вверх, будто везут по разбитой дороге на телеге без рессор. Второе — запах. Пыль, лаванда, конский пот и что-то кислое от сырой шерсти.

Третье — я не могу вдохнуть до конца.

Врач во мне просыпается раньше человека. Не могу вдохнуть — значит, либо лёгкое, либо рёбра, либо давление снаружи. Проверяю. Ребро на месте, боли нет, дыхание симметричное. Значит, снаружи.

Я опускаю глаза и вижу корсет.

Настоящий, костяной, зашнурованный так, что диафрагма ходит на треть амплитуды. Под корсетом — тёмно-синее платье с грубой вышивкой. Из рукавов торчат руки.

Не мои.

Тонкие. Белые. С коротко обрезанными ногтями и заусенцами. Без ожога от автоклава на левом запястье, который я ношу с ординатуры.

Я смотрю на эти руки, и внутри всё останавливается очень чисто, очень тихо, как останавливается сердце — сначала пропуск, потом пауза, потом ничего.

— Госпожа?

Напротив сидит женщина лет пятидесяти, полная, в чепце, с корзиной на коленях. У неё красное обветренное лицо и глаза человека, который спал часа три.

— Госпожа, вам худо? Вы белая, как молоко.

Я открываю рот, чтобы сказать: где я, что за фильм, кто вы.

И слышу собственный голос — высокий, чужой, девчоночий.

— Пить.

Она суетливо лезет в корзину и достаёт флягу. Я беру. Я не пью.

Потому что руки, поднеся флягу к лицу, делают то, что делают руки токсиколога: подносят к носу.

И я чувствую металл.

Не привкус воды из ржавой трубы. Не привкус крови. Отчётливый, лёгкий, узнаваемый металлический след на слизистой — тот, который остаётся не от глотка, а изнутри. Который живёт во рту у человека несколько дней.

Я медленно опускаю флягу на колени.

— Как меня зовут? — спрашиваю я.

Женщина бледнеет.

— Госпожа Виллена, вы меня пугаете.

— Как меня зовут полностью?

— Леди Виллена ан Торн, — она говорит это шёпотом, будто боится, что кто-то услышит с дороги. — Младшая дочь дома Торн. Госпожа, вы ударились? Мы не так уж и трясло...

Я не слушаю.

Я разворачиваю к себе левую руку и смотрю на ногти.

Они есть. Поперёк ногтевых пластин — узкие белые полосы. Ровные, параллельные, на каждом пальце на одной высоте, как строчки на нотном стане.

Я знаю, как это называется. У этого есть фамилия и год. Линии Мёэса. Их не бывает у здоровых восемнадцатилетних девочек. Они появляются, когда рост ногтя однажды сбивается — потому что в организме случилось что-то, что сбивает всё сразу.

Одна линия — один эпизод.

Я считаю. На большом пальце их три.

Три раза.

— Марта, — говорю я наугад, потому что имя откуда-то знаю, и по тому, как она вздрагивает, понимаю, что угадала. — Давно у меня выпадают волосы?

— Господи, — она крестится, сложив пальцы не так, как крестятся у нас. — Недели три. Я вам говорила — от нервов это, от нервов. Матушка ваша тоже перед свадьбой лысела...

— И живот болит. По утрам. И руки холодные.

— Всё-то вы помните, — с облегчением говорит Марта. — Ну вот и слава Отцу. А то я уж думала, вы того...

Она лезет в корзину и вытаскивает круглую жестяную коробочку.

— Хоть пастилку возьмите. Укрепляющие, от магистра. Вы в дороге каждое утро принимали. Последнюю сегодня на рассвете.

На крышке — королевская лилия, нацарапанная слишком старательно, чтобы быть настоящим клеймом. Я не открываю коробку. Заворачиваю её в платок и убираю в карман платья.

— Больше ничего из неё мне не давай.

Марта хочет спросить почему, но смотрит на моё лицо и кивает.

Я смотрю в окно кареты.

За окном — не декорация. Декорации так не пахнут и так не мокнут. Октябрьский, судя по всему, лес, серая дорога, впереди на холме что-то белое и слишком большое, чтобы быть церковью.

И вот тогда меня наконец догоняет.

Я умерла.

Не «вероятно». Не «возможно». Последним, что я помню, была девочка на каталке и монитор, на котором линия перестала быть линией. Я не помню, чтобы уходила из смотровой. Не помню коридора, лифта, парковки, ключей. Человек всегда помнит дорогу домой.

Я умерла, и меня положили сюда.

Внутри поднимается что-то большое и горячее, и я даю ему ровно четыре секунды. Считаю на выдохе, как учила пациентов с панической атакой. Раз. Два. Три. Четыре.

Потом закрываю кран.

Потому что паника — это роскошь, а у меня, судя по ногтям, её нет.

— Марта, — говорю я спокойно, и Марта успокаивается от одного моего тона, а я думаю, до чего же удобно уметь так говорить. — Куда мы едем?

— В Виарн, госпожа, — она смотрит на меня как на больную. — На Отбор. Вас же сам магистр внёс в списки. Двадцать четыре девицы со всего королевства. Вы плакали три ночи, помните?

— Расскажи мне про Отбор. Как будто я ничего не знаю.

— Госпожа...

— Марта. Как будто я ничего не знаю.

Она вздыхает и начинает рассказывать: сорок дней, три испытания, король Тэодан, регент вер Драгош, Орден Чистой Крови и Отец на небе, который смотрит на всё это и, надо полагать, доволен.

Я слушаю вполуха.

Я делаю то, что делала бы в приёмнике: собираю анамнез. Только пациент — я сама, и анамнез придётся собирать по чужому телу, которое ничего не расскажет.

Итак.

Женщина, восемнадцать лет. Три недели — выпадение волос. Утренние боли в животе. Периферическая вазоконстрикция — холодные руки. Металлический привкус, устойчивый, не связанный с приёмом пищи. Линии Меэса, три штуки, значит, три отчётливых эпизода за последние месяцы.

Диагноз я ставлю за минуту. Не точный — точный требует лаборатории, а лаборатории тут явно нет. Но класс я вижу.

Это не болезнь. Болезни так не выглядят.

Это накопление.

Кто-то давал ей понемногу. Малыми дозами, с перерывами — три подъёма, три отката, чтобы не убить сразу, чтобы всё выглядело как нервы, как слабость, как «девица перед свадьбой лысеет».

И этот кто-то делал это не сегодня и не вчера. Он начал задолго до того, как я открыла в этом теле глаза.

Я снова смотрю на свои — на её — руки. На тонкие пальцы, которые не умеют держать иглодержатель, и на белые полосы, аккуратные, как отметки на линейке роста.

За окном белое на холме превращается во дворец.

Марта что-то говорит про приданое и про то, что я должна улыбаться и не сутулиться.

А я думаю одну очень простую мысль, и от этой мысли по чужой холодной коже идёт мороз.

Тело, в которое меня положили, умирает.

И тот, кто его убивает, рассчитывает на следующую дозу.

Исполнитель мог ехать со мной. Тот, кто придумал схему, ждёт впереди, за белыми стенами, и знает, что мы приехали.

Глава 2. Двадцать четыре

Дворец Виарна снаружи похож на свадебный торт, который очень старались, но не оставились вовремя.

Внутри он холодный.

Это первое, что я отмечаю профессионально: температура. В коридорах градусов двенадцать, в спальнях чуть теплее, и повсюду сквозняки. Девушек в лёгких платьях ведут по каменным галереям сорок минут, и половина из них потом будет кашлять. Здесь, надо думать, это тоже назовут нервами.

Нас двадцать четыре.

Мы стоим в тронном зале двумя шеренгами, и я разглядываю их так, как разглядывала бы палату: кто бледный, кто дышит ртом, у кого дрожат руки.

Слева от меня — крупная девушка в зелёном, которая единственная из всех не пытается втянуть живот. У неё круглые щёки, растрёпанная коса и совершенно бесстыжий интерес ко всему происходящему.

— Тэйла, — шепчет она, не поворачивая головы. — Из ан Моров. Вилл, мы два года назад на ярмарке в Каменном Броде три дня в соседних шатрах жили. Ты правда меня не помнишь?

— После дороги у меня провалы, — говорю я. Это первая удобная ложь в новом мире и почти не ложь. — Называй меня Вилленой.

Обида мелькает у неё на лице и тут же уступает тревоге.

— Ты бледная, как утопленница, Виллена. Держись за меня, если что. Я устойчивая.

Справа стоит совсем другая порода.

Высокая, с чёрной гладкой головой, с осанкой, которой не учат, а вбивают. Она смотрит вперёд, но каким-то образом успевает оценить каждую из нас. Когда её взгляд доходит до меня, он на секунду останавливается — на волосах, на пальцах, на туфлях — и идёт дальше.

Меня только что взвесили, измерили и списали. Это заняло полторы секунды.

— Лиссандра ан Вейр, — с восторгом сообщает Тэйла. — У неё три поместья и дядя в Совете. Она тут королева уже.

Двери открываются.

Первым входит не король.

Первым входит человек в сером — немолодой, мягкий, с добрым усталым лицом сельского учителя. У него негустая седина, аккуратные руки и очки, что для этого мира, кажется, редкость. Он идёт неторопливо и по дороге кивает девушкам, и две из них — те, что помладше, — расцветают, потому что на них наконец посмотрели по-человечески.

— Магистр Сеймур ан Гвейр, — благоговейно выдыхает Тэйла. — Глава Ордена. Он и меня в списки внёс, представляешь? Приехал к нам на болота, посмотрел, сказал: у девочки чистая кровь.

Магистр останавливается напротив нашего края шеренги. Смотрит на меня.

— Леди ан Торн, — говорит он ласково. — Вы совсем измучились с дороги. Я распоряжусь, чтобы вам подали горячего.

— Благодарю, — отвечаю я.

Он улыбается и идёт дальше, и я замечаю, что он единственный здесь, кто помнит имена.

Потом входит король.

Королю семнадцать.

Это не фигура речи — ему буквально семнадцать, у него ещё не установилось лицо, острый кадык и запястья, торчащие из манжет. Он идёт по проходу и старается ступать медленно, как учили, и от этого выглядит как ребёнок, играющий в короля на утреннике. Мантия ему велика на два размера. Кто-то должен был перешить и не перешил.

Он останавливается на возвышении и говорит короткую речь.

Речь про долг, про кровь, про сорок дней, про волю Отца. Он выучил её наизусть, и на середине сбивается, и краснеет пятнами до самых ушей, и я, к своему ужасу, чувствую острое, совершенно неуместное желание принести ему воды.

— Ой, он миленький, — шепчет Тэйла с искренним сочувствием. — Как котёнок в мешке.

Правила читает распорядитель.

Сорок дней. Три испытания. Совет и король выбирают невесту. Выбывшие возвращаются домой с королевским приданым — это повторяют дважды, с нажимом, и по залу проходит вздох облегчения: приданое означает, что даже проигравшая выиграла.

Я слушаю, и мне не нравится, как это сказано.

Есть особая интонация, которой произносят самую отрепетированную часть речи. Так заведующий говорит родственникам «мы сделали всё возможное». Формулировка гладкая, потому что её произносили много раз.

И ещё я считаю.

Не девушек — дни.

Если тело травят неделями и последнюю пастилку дали сегодня, повреждение уже накопилось. Я не могу по ногтям назвать срок и не стану лгать самой себе: без новой дозы у меня могут быть недели, с новой — один вечер до аритмии, судорог или отказа органов.

Значит, до первого обязательного дворцового питья нужно понять хотя бы путь поступления. А затем — вещество и человека.

В зале, где я не знаю ни одного человека.

В теле, которое не знаю тоже.

— А вон тот, — говорит Тэйла, — это регент.

Я поворачиваю голову.

У колонны, чуть в стороне от помоста, стоит мужчина в чёрном.

Он не смотрит на нас.

Вот что сразу неправильно: в зале двадцать четыре девушки в лучших платьях, и все мужчины у стен смотрят на них — кто оценивающе, кто скупающе, кто по обязанности. А этот смотрит на слуг.

Он провожает взглядом мальчишку с кувшином. Потом человека, который поправляет свечи. Потом того, кто прошёл вдоль стены и остановился у двери.

Он читает зал так, как я читаю палату. Не «кто здесь красивый», а «кто здесь не на своём месте».

Ему лет тридцать пять. Тёмный, сухой, без единого украшения, и стоит он так, как стоят люди, которые давно не сидят. У него лицо человека, который ничего не ждёт от вечера.

На секунду его взгляд проходит по нашей шеренге — быстро, по касательной.

И останавливается на мне.

Я слишком поздно понимаю, почему: я тоже смотрела на слуг.

Он чуть заметно наклоняет голову. Не поклон. Пометка.

— Айрен вер Драгош, — говорит Тэйла уже без всякого восторга. — Дознаватель. Матушка говорила: если он с тобой заговорил — молчи и плачь, глядишь, отпустит.

— А если не отпустит?

— А тогда уже неважно, — жизнерадостно отвечает Тэйла.

* * *

Ужин накрывают в малой трапезной.

Я стою в дверях и вижу не стол, а карту.

Двадцать четыре прибора. Общие блюда — жаркое, каша с маслом, печёные яблоки. Общий хлеб. Кувшины с разбавленным вином, из которых наливают слуги. И у каждого прибора — маленькая чашка с чем-то тёмным.

— Что это? — спрашиваю я у Марты.

— Отвар укрепляющий, госпожа. От лекаря королевского. Всем девицам положено, чтобы кровь была сильная. Вы такой же пили у себя, только слабее.

Вот оно, думаю я.

Слишком рано и слишком очевидно, чтобы быть правдой, но проверить надо.

Я сажусь. Я улыбаюсь. Я разговариваю с девушкой напротив о погоде на её родине.

И я не ем.

Ничего.

Я двигаю жаркое по тарелке. Разламываю хлеб и крошу. Подношу чашку к губам и не размыкаю их. Отвар пахнет ромашкой, полынью и чем-то ещё, чего я не узнаю, — и в этом «чем-то ещё» вся проблема: я не узнаю, потому что здесь другая флора, другие названия, другая фармакопея. Мои двенадцать лет разом стоят вдвое меньше.

Есть очень хочется. Тело восемнадцатилетнее, оно требует.

— Ты чего не ешь? — Тэйла жуёт за нас обеих. — Худеешь? Не худей, дура, тут за зиму все худеют.

— Живот, — говорю я.

— А, ну да. У Онории тоже.

Я поднимаю голову.

— У кого?

Тэйла кивает в дальний конец стола.

Там сидит худенькая девушка лет шестнадцати с очень прямой спиной. Светлые волосы собраны в тугую косу, и в свете свечей видно, что по пробору они реденькие. Она ест мало и осторожно, и когда тянется за солью, у неё едва заметно дрожит кисть.

Я смотрю на её руки.

Мне не видно ногтей отсюда. Мне не нужно видеть ногти.

Я знаю эту позу. Так сидят, когда болит живот и ты не хочешь, чтобы заметили.

— Онория ан Бесс, — говорит Тэйла. — Она тут уже неделю, их из ближних привезли раньше. Славная. Только зелёная какая-то всё время.

Я откладываю нож.

Значит, не я одна. Значит, это не месть роду Торн и не старая семейная история. Значит, это система.

И тогда всё меняется. Одну отравленную девушку можно спрятать. Двух — сложнее. А если их больше...

Онория поднимает свою чашку с отваром.

Я открываю рот, чтобы сказать ей — что? «Не пейте»? На каком основании? Я тут восемнадцатилетняя провинциалка, которая сегодня приехала.

Я не успеваю ни решить, ни сказать.

Онория делает глоток, ставит чашку и вдруг смотрит куда-то поверх наших голов очень удивлённо, будто в дверях стоит человек, которого не может здесь быть.

Её пальцы разжимаются.

Бокал падает и катится, разливая вино по скатерти длинной тёмной полосой.

А потом Онория ан Бесс наклоняется вперёд и падает лицом в тарелку.

Стол взрывается визгом.

Я уже иду — обхожу двух девиц, отталкиваю служанку, — и всё это время у меня в голове холодно и ровно, как всегда бывает в такие минуты.

Я поднимаю её голову. Проверяю зрачки.

Сужены до точки.

Кожа мокрая и холодная. Пульс частит и путается. Из рта пахнет чем-то горьковато-травяным.

Это не ровно то же, что у меня. Металлический след и медленное выпадение волос не похожи на этот горький запах и молниеносный срыв сердца. Значит, я ошиблась в одном важном месте: здесь работают по меньшей мере два вещества.

Но у неё, как и у Виллены, есть линии на ногтях. Кто-то сначала ослаблял нас долго, а сегодня Онории дал другой яд и смертельную дозу.

Глава 3. Дознаватель

Онория ан Бесс умирает у меня на руках за одиннадцать минут.

Я делаю всё, что можно сделать голыми руками в комнате без единого препарата: кладу набок, очищаю рот, выдвигаю нижнюю челюсть, слежу, чтобы она дышала, считаю пульс и требую лекаря. Вызывать рвоту человеку, который теряет сознание, нельзя: он захлебнётся раньше, чем яд выйдет. Вокруг стоят двадцать три девушки и четыре лакея, и никто мне не мешает, потому что все слишком напуганы, чтобы мешать.

На седьмой минуте прибегает придворный лекарь — толстый, задыхающийся, с ящиком в руках. Он отталкивает меня, вынимает нож и вскрывает Онории вену на локтевом сгибе.

— Что вы делаете? — говорю я.

— Дурную кровь спускаю, — рывкает он. — Не мешайте, девица.

У неё и так давление в подвале. Он выпускает из неё последнее, что ещё держит её на этом свете, и делает это уверенно, привычно, с сознанием выполненного долга.

Я хватаю его за запястье.

Он смотрит на меня так, будто заговорила скамейка.

На девятой минуте начинаются судороги. На одиннадцатой всё заканчивается.

В наступившей тишине слышно, как капает кровь на камень.

— Проклятие, — говорит лекарь, вытирая нож. — Отмечена была.

И двадцать три девушки крестятся сложенными пальцами, потому что это объяснение всех устраивает.

Я сижу на полу в чужом платье, у меня чужие руки в чужой крови, и я впервые за этот бесконечный день чувствую не страх, а ярость.

Проклятие.

Ну конечно. Проклятие.

--- На женской половине в этот день не разговаривают ни о чём другом.

Вызывают по одной. Возвращаются по-разному: одна плачет, вторая молчит и не может есть, третья приходит злая и говорит, что дознаватель — грубиян и что она напишет отцу. Дуэнья ходит вдоль коридора и повторяет, что беспокоиться не о чем.

Обо мне говорят громким шёпотом — тем самым, который специально должен быть услышан.

— Она первая пошла.

— Её первую и позвали.

— А чего это её первую?

Я сижу на подоконнике и делаю вид, что не слышу.

Двенадцать лет в отделении научили меня одному: когда в замкнутом помещении случается смерть, люди немедленно находят виноватого, и это почти никогда не тот, кто виноват. Это тот, кто вёл себя не как все.

Вчера двадцать три девушки ели. Я не ела.

Меня вызывают на рассвете.

Комнату, куда меня приводят, я про себя сразу называю кабинетом: голые стены, стол, две свечи, окно с решёткой не для красоты. За столом сидит человек в чёрном.

При свете он выглядит хуже, чем в зале. Не старше — просто видно, что он спал не больше моего. Тёмные волосы, сухое лицо, левая бровь рассечена старым шрамом. Руки на столе спокойные, крупные, с содранной кожей на костяшках правой.

— Леди Виллена ан Торн, — говорит он. Не спрашивает.

— Да.

— Садитесь.

Я сажусь.

Он не предлагает воды и не спрашивает, как я себя чувствую. Он смотрит на меня молча секунд десять — достаточно долго, чтобы нормальный человек начал заполнять паузу. Я знаю этот приём. Я сама так делаю с пациентами, которые врут про алкоголь.

Я молчу.

Что-то в его лице чуть меняется.

— Вчера за ужином, — говорит он, — двадцать четыре девушки ели одно и то же. Двадцать три из них ели. Вы — нет.

— Не ела.

— Почему?

— Живот болел.

— Врёте.

Сказано без нажима, буднично, как «за окном дождь».

— Вы двигали еду по тарелке и крошили хлеб, — продолжает он. — Вы поднесли чашку к губам четыре раза и ни разу не сделали глотка. Вы нюхали отвар. Больная девица так себя не ведёт. Больная девица либо ест через силу, либо отказывается вслух, чтобы её пожалели. Вы делали вид.

— Вы за мной следили.

— Я смотрел в зал. — Он подаётся чуть вперёд. — Так почему вы не ели?

Я быстро прикидываю варианты.

Заплакать и молчать, как советовала матушка Тэйлы. Соврать что-нибудь про пост. Или сказать правду — часть правды, ту, которую можно проверить, потому что человек, который заметил, как я четыре раза не отпила из чашки, врун из меня сделает за минуту.

— Потому что я не знала, что в еде, — говорю я.

— И вы полагали, что там что-то есть.

— Я полагала, что не мешает проверить.

— На чём основано?

— На моих ногтях.

Он молчит.

Я кладу руку на стол ладонью вниз и разворачиваю пальцы к свету.

— Видите полосы? Поперечные, белые, на всех пальцах на одном уровне. Их три. Каждая означает, что рост ногтя однажды нарушился — организм в этот момент был занят чем-то другим, кроме как расти. Три полосы — как минимум три периода тяжёлого воздействия. Ногти на руках растут примерно на три миллиметра в месяц, поэтому по расстоянию между полосами всё это укладывается в последние три-четыре месяца. Плюс волосы. Плюс живот по утрам. Плюс привкус во рту, который не проходит.

— И это означает?

— Это означает, что меня травят понемногу. Уже давно. И не остановились.

Свеча трещит.

Он не отшатывается, не крестится и не говорит «проклятие». Он слушает.

— Вчера с Онорией ан Бесс случилось не то же самое, что со мной, — говорю я. — У меня картина накопительного минерального яда: волосы, ногти, живот, металлический привкус. У неё был горький растительный запах, суженные зрачки, холодный липкий пот, тахикардия и судороги в конце. Два вещества, но один принцип: девушек сначала делают больными, а потом одну из них добивают.

— А что оставляет?

— Вероятнее всего, растительный алкалоид. Какой именно — не скажу, я не знаю ваших трав. Но по картине это что-то из группы, которая бьёт по нервам и по сердцу. А до вчерашней

дозы её, возможно, ослабляли чем-то ещё. Тот, кто это делает, не всегда хочет быстрой смерти. Ему нужно, чтобы девушки болели и тихо выбывали.

— Тогда почему ан Бесс умерла?

— Потому что кто-то ошибся с дозой. Или потому что перестал осторожничать.

Он откидывается назад.

— Леди ан Торн, — говорит он медленно. — Сколько вам лет?

— Восемна... — я запинаюсь на полтакта. — Восемнадцать.

— Восемнадцать. И вы знаете слово «алкалоид».

Чёрт.

— Я читала.

— Что?

— Травники.

— Назовите хоть один.

Я смотрю ему прямо в глаза и говорю:

— Не назову.

Он молчит. И вот теперь, впервые, у него меняется выражение лица — совсем чуть-чуть, в углу рта.

— Хорошо, — говорит он. — Это было честнее предыдущего.

— Господин дознаватель, — я наклоняюсь вперёд, — вы можете думать про меня что угодно. Вы можете считать, что я сумасшедшая, что я ведьма, что я вру. Мне сейчас всё равно. У вас во дворце двадцать три девушки, которые сегодня утром снова выпьют этот отвар. Отберите чашки. Просто отберите. Проверять будете потом.

— Отвар уже изъят. Ночью.

Я останавливаюсь.

— Изъят?

— Разумеется. — Он смотрит на меня почти с досадой. — Вы полагаете, я впервые вижу мёртвую девицу, леди ан Торн? Отвар изъят, лекарь под стражей, кухня опечатана, повар и трое подавальщиков допрошены. Всё, что вы мне сейчас сказали, я узнаю через восемь дней от аптекаря в городе, если он согласится читать. Вы просто сэкономили мне восемь дней.

Я откидываюсь на спинку стула.

Впервые за сутки во мне что-то отпускает.

Он не идиот. Господи, он не идиот.

— Тогда мне нужно одно, — говорю я.

— Что.

— Отведите меня к телу.

Тишина становится другой.

Она делается плотной и очень внимательной. Он не двигается, но я физически чувствую, как в комнате повышается концентрация.

— Зачем?

— Затем, что я соберу признаки, возьму образцы и скажу, каким путём яд попал внутрь и похоже ли это на один эпизод. Точное вещество и срок без анализа не обещаю. Ваш аптекарь начнёт искать через восемь дней. Я дам ему материал через час.

— Вы понимаете, о чём просите.

— Прекрасно понимаю. Я прошу отвести меня в ледник и разрешить вскрыть покойницу. Это, вероятно, у вас запрещено, кошунственно и подсудно. Мне нужен час, свет и нож.

Он встаёт.

Он обходит стол — не быстро, но так, что я невольно вжимаюсь в спинку, — и останавливается напротив, глядя сверху вниз.

— Леди ан Торн, — говорит он очень ровно. — Я знаю ваш дом. Я читал ваше дело, как читал дела всех двадцати четырёх, потому что это моя работа. И там, среди прочего, написано, что четыре года назад вы упали в обморок в церкви, когда мяснику на паперти рассекли руку.

У меня внутри всё останавливается.

— Виллена ан Торн, — продолжает он, — панически боялась крови. Она не могла смотреть, как режут курицу. Она уходила из комнаты, когда пускали кровь её собственной матери.

Он наклоняется, упираясь ладонью в стол рядом со мной.

— А вы вчера одиннадцать минут удерживали ей дыхательные пути и сегодня просите отвести вас в ледник.

Свеча гаснет от сквозняка. Остаётся одна.

— Я не знаю, кто вы, — говорит Айрен вер Драгош. — Но я узнаю. И советую вам к этому дню придумать что-нибудь получше травников.

Глава 4. Ледник

Я иду в ледник ночью.

Не потому, что я храбрая. Потому что арифметика.

Если я права насчёт накопления, следующая доза может оказаться той, после которой чужое тело начнёт отказывать всерьёз. Ждать, пока господин дознаватель решит, ведьма я или дура, я не могу. К тому же тело в леднике пролежит от силы сутки — здесь хоронят быстро.

Ключ мне достаёт Тэйла.

Я не прошу — я просто рассказываю ей за завтраком, что Онория умерла не от проклятия, и что я хочу это доказать, и что мне нужно попасть вниз. Тэйла слушает, жуёт и говорит:

— Кухарка Бетта — сестра моей няньки. Иди спать, вечером принесу.

— Просто так?

— Вилли, — говорит она с набитым ртом, — я росла на болотах в доме с шестью братьями. Если мне говорят «это проклятие», а девка при этом зелёная и трясётся, я говорю: угу, проклятие, а руки-то вымой.

Так у меня появляется первый союзник в этом мире, и он весит килограммов девяносто и не боится ничего.

--- Ключ Тэйла приносит не сразу, и это оказывается целым предприятием.

Она уходит после обеда и возвращается через два часа — красная, довольная и без половины пирогов, которые брала с собой.

— Значит, так, — говорит она, плюхаясь на кровать. — Бетта ключ не даст.

— Тэйла...

— Бетта ключ не даст, — с наслаждением повторяет она, — потому что ключ не у Бетты. Ключ у ледникового мужика, а мужика зовут Крон, а Крон нынче в ночь не выйдет, потому что у него баба родила.

— И?

— И ключ висит на гвозде за дверью в кладовой, — говорит Тэйла ан Мор. — Бетта его снимет и повесит обратно, а мы за это ей пять раз повторим, что я ей ничего не говорила. Понятно?

— Тэйла, если тебя поймают...

— Если меня поймают, я скажу, что искала сало. — Она пожимает плечами. — Меня уже дважды ловили с салом. У меня, Вилли, репутация.

Ледник — это подвал под кухней, глубокий, с земляным полом, обложенный соломой и колотым льдом. Здесь минус два, наверное. Здесь пахнет мокрой соломой, мясом и холодным камнем.

Онория лежит на длинном столе под холстиной.

Я ставлю фонарь. Раскладываю то, что удалось собрать: кухонный нож с тонким лезвием, ножницы, две ложки, полотняные тряпки, миску и восемь свечей. Хирург из меня, честно говоря, посредственный. Патологоанатом — тем более. Но по каждому своему умершему я читала протокол вскрытия и знаю, что в нём ищут.

Я снимаю холстину.

— Прости, — говорю я вслух. — Я постараюсь быстро.

И начинаю работать.

Первое — руки.

Ногти: полосы есть. Две видны отчётливо, третья теряется у края. Это доказывает только повторные тяжёлые эпизоды; по числу полос нельзя честно восстановить ни вещество, ни дозу.

Волосы: у корней тонкие, ломаются между пальцами.

Слизистые: серые. Дёсны тёмные по краю.

Запах изо рта — тот самый, горьковато-травяной, тяжёлый. Я нюхаю трижды и запоминаю. Это мой единственный химический анализ. Мой газовый хроматограф — вот эти ноздри.

Дальше хуже.

Дальше нужно посмотреть желудок, и я стою над телом с кухонным ножом секунд двадцать, и рука не идёт.

Потом идёт.

Я работаю и, как всегда, начинаю говорить вслух. Это привычка ординатуры: проговаривать — значит не пропустить.

— Слизистая желудка воспалена, местами эрозии. Множественные, точечные. Раздражающее вещество — но были эти повреждения до вчерашнего ужина или появились за последние часы, я без лаборатории не докажу. Содержимое... содержимое зелёное. Растительное. Волокна.

Я вылавливаю ложкой мелкие тёмные крупинки и раскладываю на тряпке. Растираю. Нюхаю.

Вот оно. Гораздо сильнее, чем изо рта.

— Кишечник отёчный. Печень... — я прощупываю и одёргиваю себя. — Плотная, край закруглён, но это неспецифично. Никаких красивых выводов из одного органа.

Я откладываю нож и вытираю руки.

— Итого, — говорю я в темноту. — В желудке много растительного сырья, похожего на источник нейро- и кардиотоксичного алкалоида. Финальная доза явно велика. Судя по ногтям, до неё были повторные тяжёлые воздействия, но я пока не вправе объявлять их тем же ядом. Вероятная непосредственная причина смерти — фатальная аритмия или остановка дыхания. Точнее без анализов не скажу.

— Продолжайте, — говорит голос от двери.

Я не вздрагиваю. Я просто очень медленно поворачиваю голову.

Айрен вер Драгош стоит на нижней ступеньке, прислонившись плечом к косяку, и по его виду совершенно ясно, что стоит он там не минуту.

— Давно вы здесь? — спрашиваю я.

— Четверть часа. — Он входит в круг света. — Я вас не перебивал.

— Могли бы предупредить.

— Мог бы. Но вы говорили вслух, и это было полезнее, чем всё, что я слышал за последние сутки.

Я стою над вскрытым телом восемнадцатилетней девочки, с окровавленным кухонным ножом в руке, в подвале, куда меня никто не пускал. По здешним законам мне за это, я подозреваю, полагается что-то содержательное.

— Вы меня арестуете?

— Я об этом думаю, — честно говорит он.

Он подходит к столу и смотрит на тело. Не морщится. Он видел такое.

— Объясните мне то, что вы сказали. Про курс.

— Смотрите. — Я поворачиваю фонарь. — Вот эрозии. Часть выглядит свежей, часть старше, но при таком свете я не стану выдавать впечатление за датировку. Историю на недели дают ногти и рассказ девушек о её болезни. Желудок подтверждает, что вчера внутрь попало много раздражающего растительного вещества.

Он наклоняется. Смотрит внимательно, как смотрят на карту местности.

— Дальше.

— Дальше — доза. — Я показываю крупинки на тряпке. — Это из желудка. Их много, они целые, не растворились. Вчера она получила сырьё сухим или в густой смеси и, судя по количеству, сразу много. Было ли это то же вещество, которым её ослабляли раньше, ещё предстоит доказать.

— То есть?

— То есть, — говорю я, — Онорию ан Бесс травили не для того, чтобы убить. А вчера её убили.

В леднике очень тихо. Где-то наверху хлопает дверь, и с потолка сыплется струйка земли.

— Отвар изъяли вчера ночью, — говорит Айрен. — До ужина.

— Знаю. Вы сами сказали.

— Значит, вчерашнюю дозу она получила не с отваром.

— Значит, нет.

— Значит, кто-то дал ей это лично.

— Да, — говорю я. — Кто-то, кому она доверяла настолько, чтобы взять из его рук и проглотить не глядя. И этот кто-то знал, что отвар изъят и что дальше травить понемногу не выйдет. Он узнал об этом в ту же ночь.

Айрен очень медленно выпрямляется.

Я вижу, как до него доходит, и вижу, что ему это не нравится.

— Об изъятии знали шесть человек, — говорит он.

— Поздравляю. Круг сузился.

— Пятеро из них — мои люди.

— А шестой?

Он не отвечает.

Он берёт тряпку с крупинками, аккуратно сворачивает и убирает в карман. Потом смотрит на меня — на моё платье, на руки, на нож.

— Идите за мной, — говорит он. — И вымойте руки, ради Отца.

Мы поднимаемся по узкой лестнице. На верхней площадке он вдруг останавливается так резко, что я едва не утыкаюсь ему в спину.

— Леди ан Торн.

— Что?

— Вы держали её сердце в руках и говорили про печень так, будто читаете список белья. — Он оборачивается. — Вчера утром я сказал, что узнаю, кто вы. Я это повторяю. Но у меня к вам теперь другой вопрос.

— Какой?

— Сколько раз вы это делали?

Я смотрю на него снизу вверх. Фонарь у меня в руке, и тени идут не туда, и от этого его лицо кажется незнакомым.

— Достаточно, — говорю я, — чтобы знать, что ваш лекарь вчера убил её быстрее, чем яд.

Что-то в его лице делается совсем нехорошим.

— Кровоупускание, — говорит он.

— Кровоупускание. При падении давления. Она бы, возможно, дотянула до утра. Я не говорю, что выжила бы. Я говорю, что у неё было утро, и он его забрал.

Айрен вер Драгош стоит на верхней ступеньке и долго молчит.

— Идите спать, — говорит он наконец. — Дверь вашей комнаты сегодня заперта не будет. Караульный у лестницы мой.

— Это защита или надзор?

— Да, — отвечает он и уходит.

Глава 5. Двадцать три

Утром нас не выпускают.

Об этом сообщают буднично: приносят завтрак, а потом запирают обе двери — и ту, что в парадные галереи, и ту, что на служебную лестницу. Снаружи ставят по человеку.

— Порядок дознания, — говорит из-за двери распорядитель. — До вечера.

До вечера получается целый день.

Двадцать три девушки, три спальни, одна гостиная, один нужник и ни одного окна, которое открывалось бы больше чем на ладонь.

Я слишком долго работала в замкнутых помещениях с людьми, которым страшно, и знаю, как это устроено: первые два часа тихо, потом начинается.

* * *

Первые два часа тихо.

Девушки сидят по кроватям. Кто-то молится — на коленях, лицом к восточной стене, сложив пальцы тем самым способом, которого я до сих пор не выучила. Кто-то плачет. Три или четыре просто лежат, отвернувшись, и это, по моему опыту, хуже слёз.

Потом одна не выдерживает и говорит вслух:

— А если оно на всех?

И начинается.

Через четверть часа гостиная набита, все говорят разом, и версий уже пять. Проклятие рода ан Бесс. Порча на Отбор. Кара за то, что мы приехали свататься к мальчику. Отравительница среди нас. Отравительница — это я, потому что я одна вчера не ела.

Последнюю версию произносят не вслух, но я слышу её прекрасно.

— Тихо! — Тэйла бьёт ладонью по столу так, что подпрыгивает подсвечник. — Тихо, кому говорю. Вилли, скажи им.

Двадцать два лица поворачиваются ко мне.

Я стою у камина в чужом платье, с чужим лицом, и мне восемнадцать лет.

— Хорошо, — говорю я. — Скажу.

* * *

— Онория ан Бесс умерла не вчера.

Пауза.

— Она умерла три недели, — говорю я. — Просто вчера это закончилось. Я видела её за ужином: у неё дрожала рука, когда она тянулась за солью, и у неё редел пробор. Так не выглядит проклятие. Так выглядит человек, который что-то принимает.

— Она ничего не принимала, — говорит кто-то. — Она молилась.

— Она пила то, что ей приносили.

Тишина делается другой.

— Отвар пьют все, — говорю я. — Отвар изъели позавчера, я знаю это точно. Значит, дело не в общем отваре. Значит, кому-то приносили что-то ещё.

Я обвожу гостиную взглядом.

— Так вот. Мне надо знать, кому.

* * *

Дальше я делаю то, чего от восемнадцатилетней девицы никто не ждёт: я устраиваю обход.

Не осмотр — до осмотра я дойду позже. Просто разговор, по одной, у окна, где потише. Я спрашиваю четыре вещи: что пьёшь, что ешь отдельно от всех, что болит, кто тебе это приносит.

Двадцать два человека — это два часа, если не отвлекаться.

Я отвлекаюсь.

Потому что за эти два часа женская половина перестаёт быть для меня толпой в белом.

Бранка ан Дол садится напротив первой, сама, не дожидаясь очереди.

Ей двадцать четыре, и она старше всех здесь на пять лет. Вдова: муж умер, когда ей было двадцать два, от чего — говорит спокойно и подробно, и по описанию я узнаю прободную язву. У неё тяжёлое лицо и очень прямая спина.

— Пью то же, что все, — говорит она. — Ем то же, что все. Не болит ничего. Приносит Ольда, как всем.

— Спасибо.

— Не за что. — Она не встаёт. — Теперь я спрошу.

— Спрашивайте.

— Вы вчера не ели, — говорит Бранка. — Сегодня вы спрашиваете, кому носили отдельно. Вы либо знаете больше нас, либо вы это сделали. Я хочу понять, какое из двух, потому что от этого зависит, разговариваю я с вами дальше или нет.

Я смотрю ей в глаза.

— Первое.

— Откуда знаете?

— По ней. И по себе.

Бранка ан Дол молчит несколько секунд.

— Хорошо, — говорит она и наконец встаёт. — Я вам не подруга и подругой не буду, у меня для этого возраст неподходящий. Но если понадобится кого-то держать — зовите меня, а не Тэйлу. Тэйла жалеет, а я нет.

* * *

Близнецы ан Керет приходят вдвоём и садятся вдвоём, потому что иначе, судя по всему, не умеют.

Им по шестнадцать. Они действительно неразличимы: одинаковые светлые головы, одинаковые веснушки, одинаковые заштопанные манжеты. Держатся за руки под столом — я вижу локти.

— Я Мила, — говорит левая.

— Я Нея, — говорит правая.

— Она врёт, — говорит левая. — Я Нея.

— Мила, — устало говорит правая, — не начинай, пожалуйста.

Дом у них мелкий и южный, приданое — единственный шанс, а братьев нет, и это, как я уже понимаю, здесь означает беду.

— Что пьёте?

— Отвар, — говорит Мила.

И замолкает.

— И? — говорю я.

Они переглядываются.

— И ещё, — говорит Нея тихо. — Нам обеим носят. Отдельно.

У меня внутри становится очень холодно и очень тихо.

— Давно?

— С первого дня. Ещё до того, как все приехали, нас же раньше привезли. — Мила говорит бодро, и от этой бодрости хуже. — Магистр сказал, у нас кровь слабая, потому что мы двойня. Он сам смотрел. Он такой добрый, он к нам домой приезжал.

— Что за питьё?

— Тёмное, — говорит Нея. — Горькое очень. Пахнет, как трава прелая.

— Каждый день?

— Через день. По полчашки.

Я держу лицо. Это я умею — годами держала, глядя на снимки, которые означали полгода.

— Так, — говорю я. — Слушайте меня внимательно, обе. Больше не пейте.

— Но магистр...

— Не пейте. Делайте вид, что пьёте, а выливайте. В окно, в горшок, в ночную посуду — куда угодно. И никому не говорите, что я вам это сказала. Никому. Даже друг другу вслух.

Мила смотрит на меня круглыми глазами.

— Мы заболеем? Если не пить?

— Вы заболееете, если пить.

* * *

К четвёртому часу у меня складывается список.

Личный настой носили троим: Онории ан Бесс и обеим ан Керет.

Двадцать остальных пили общий отвар и больше ничего.

Три из двадцати трёх. Не случайная выборка. Кто-то выбирал.

И самое скверное: обеих близнецов начали поить ещё до открытия Отбора, когда их привезли резервными, — то есть выбрали не здесь. Выбрали раньше, где-то там, в мелком южном доме, куда приезжал добрый человек в сером и смотрел, какая у девочек кровь.

* * *

Госпожа Кетта появляется в пятом часу и портит всё.

Дуэнья женской половины, лет пятидесяти, в тёмном, с ключами на поясе и лицом человека, который тридцать лет ждёт неприятностей и наконец дождался.

Она входит, хлопает в ладоши и зачитывает по бумаге новые правила.

Не выходить. Не собираться больше чем по трое. Не говорить с дознавателем без неё. Не обсуждать покойную. Свечи гасить в девять.

— И ещё, — говорит она, складывая бумагу. — Кто ходил ночью — я знаю, кто ходил ночью. Молчу пока.

Она смотрит при этом прямо на меня.

Я нарушаю четыре правила из пяти ещё до ужина.

* * *

Ольду я нахожу сама, на служебной лестнице, за той дверью, которую заперли снаружи, но не заперли изнутри.

Ей лет тридцать. Она разносит еду, выносит посуду, меняет воду и не разговаривает.

— Вы носили ан Керет питьё, — говорю я.

Она молчит.

— Кто вам его давал?

Молчит.

Я лезу за пазуху и достаю то единственное, что у меня есть, — серебряную заколку из волос покойной Виллены ан Торн. Не мою. Единственную ценную вещь в сундуке.

Ольда смотрит на заколку. Потом на меня.

— Из аптеки давали, — говорит она. — Готовое, в склянках. С восковой печатью.

— Кто именно?

— Не видала. Ставят на полку у двери, я беру. — Она берёт заколку и прячет так быстро, что я не успеваю проследить движение. — Одно скажу, госпожа. Склянок всегда ставили три. И на них номера были.

— Номера?

— Ага. Единица, двойка, тройка. — Ольда пожимает плечами. — Я думала, чтоб не путать.

Три склянки с номерами.

Три девушки.

Кто-то ведёт учёт.

* * *

Вечером нас выпускают, и первое, что я делаю, — иду в комнату Онории.

Она пустая.

Не в смысле «убрано» — в смысле выпотрошена. Сундук открыт, вещи сложены стопкой на кровати для описи, но описи никакой нет, и по тому, как они сложены, видно: кто-то перебирал, а потом сложил обратно, стараясь, чтобы было аккуратно.

Я перебираю.

Два платья, три рубахи, гребень, чётки, зимние чулки, письмо от матери, засушенный цветок в книге. Всё, что бывает у восемнадцатилетней девушки, которая уехала из дома навсегда.

Я перебираю дважды.

Потом сажусь на край её кровати и очень долго смотрю на аккуратную стопку.

Здесь нет флакона.

Ни пустого, ни полного, ни осколка. Ни склянки с восковой печатью, ни склянки без печати — ничего.

Ольда носила ей питье через день, по полчашки. Значит, посуда была. Значит, вчера утром в этой комнате стояла склянка номер один.

Кто-то вошёл сюда раньше дознавателя. Раньше меня. Раньше даже той минуты, когда Онория ан Бесс упала лицом в тарелку, — потому что после у дверей уже стояла стража.

Кто-то забрал одну-единственную вещь и уложил остальные ровно.

Я сижу в чужой пустой комнате и очень отчётливо понимаю, что человек, который это сделал, всё ещё живёт под этой крышей.

И что склянок было три.

Глава 6. Сделка

Он приходит за мной на второй день после ледника, в час, когда все девушки на уроке танцев.

— Со мной, — говорит он от двери. И всё.

Мы идём длинными пустыми галереями. Он не сбавляет шаг под меня, и я иду быстро, и корсет мстит.

— Куда мы?

— В аптеку.

— Наконец-то.

Он косится на меня.

— Вам не приходило в голову спросить, зачем.

— Приходило. Но вы бы всё равно не ответили, а я бы потратила дыхание, которого у меня и так нет из-за этого сооружения на рёбрах.

Уголок его рта дёргается. Я записываю это себе в актив.

* * *

У дверей аптеки нас ждёт человек с кольцом ключей на поясе.

Ему за шестьдесят. Седые редкие волосы, лиловые мешки под глазами и виноватое выражение лица, которое, судя по всему, у него сделалось постоянным лет двадцать назад.

— Господин регент, — говорит он и кланяется дважды, на всякий случай.

— Барт, — говорит Айрен. — Отопри и иди.

Барт отпирает. Руки у него подрагивают, и ключ он находит не с первого раза, и я машинально отмечаю: не старческий тремор, слишком крупный размах. Так трясутся руки у людей, которые не спят и много должны.

— Мне при описи полагается быть, — говорит он несчастным голосом.

— Не полагается.

— Не полагается, — с облегчением соглашается Барт и уходит очень быстро.

— Он всегда такой? — спрашиваю я.

— Он играет, — говорит Айрен. — Двадцать лет играет и двадцать лет проигрывает.

Он должен половине столицы и поэтому боится всех подряд. Дурной человек на этом месте, но не злой.

Я запоминаю. У меня сложилась привычка: всё, что качается, я записываю отдельно. Не пригодится — и ладно.

Дворцовая аптека — длинная комната с окнами под потолком, вся в шкафах. Сотни ящичков с ярлыками, бутылки тёмного стекла, весы, ступки, сушёные пучки под потолком. Пахнет здесь честно и хорошо: мятой, спиртом, воском.

Айрен запирает за нами дверь.

— Прежде чем вы начнёте трогать, — говорит он, — я хочу вам кое-что сказать. Один раз.

Он садится на край стола. Скрещивает руки.

— Четыре года назад на предыдущем Отборе тоже умирали девушки. Пять за сорок дней. Тогда это тоже назвали проклятием, и я тоже в это не поверил. Я вёл дознание. Я нашёл виновную: девица из дома Керр, при которой обнаружили порошок и которая не смогла объяснить, откуда он.

Он говорит ровно, глядя в стену за моей спиной.

— Я подписал приговор. Её казнили через шесть дней. Мне было двадцать девять, я был очень доволен собой и очень быстр.

Пауза.

— А через две недели умерла ещё одна.

Я молчу.

— С тех пор, — говорит Айрен, — я ничего не подписываю быстро. И я не верю очевидному. Особенно когда очевидное само приходит ко мне в руки и просит нож.

Он наконец смотрит на меня.

— Так что нет, леди ан Торн, я не решил, кто вы. Вы можете быть тем самым, чем кажетесь. А можете быть тем, кого мне очень аккуратно подложили, чтобы я во второй раз побежал не туда.

— И как вы намерены это выяснять?

— Наблюдением. — Он встаёт. — Поэтому я предлагаю вам договор.

— Слушаю.

— Вы даёте мне то, чего у меня нет. Женскую половину. Двадцать две другие девицы, которые при мне немеют, а между собой говорят. Кто с кем спит, кто кому носит записки, кто чем болеет, кто что пьёт. Я хочу знать про этих девушек всё, что знает ваша Тэйла, и ещё то, чего она не знает.

— А взамен?

— Взамен вы получаете три вещи. Первое: доступ сюда. — Он обводит рукой аптеку. — В любое время, под мою ответственность. Второе: вас никто не тронет. Ни лекарь, ни Орден, ни двор. Третье: если вы окажетесь правы и я найду того, кто это делает, я не буду ждать, пока Совет соберётся на заседание.

Звучит великолепно.

Слишком.

— Что не так? — спрашивает он, заметив мою паузу.

— Всё так. Только вы предлагаете мне быть вашим доносчиком, и я тут никто, и если что-то пойдёт не так, крайней сделают девицу из обедневшего рода, а не регента короны.

— Верно, — говорит он спокойно.

— Поэтому у меня условие.

— Условие, — повторяет он.

— Одно. — Я поднимаю палец. — Когда я говорю вам, что человек болен, — вы меня слушаете. Не «принимаю к сведению». Не «разберёмся после испытания». Слушаете и делаете. Я не прошу верить мне на слово во всё. Я прошу верить мне в одном: я вижу больного раньше, чем он падает. Это единственное, что я умею по-настоящему.

Он смотрит на меня очень долго.

— Хорошо, — говорит он.

— Просто «хорошо»?

— Вы просите меня о том, чего я и так хочу. Мне нужен кто-то, кто различает болезнь и яд. У меня такого нет.

— А ваш лекарь?

— Мой лекарь, — говорит Айрен, — со вчерашнего дня служит в гарнизоне на восточной заставе. Там мало живых и много лошадей. Лошадям он подойдёт.

Я не сдерживаюсь и фыркаю.

Он делает вид, что не слышал.

* * *

Мы работаем два часа.

Он открывает ящики, я нюхаю, растираю, откладываю. Он читает мне ярлыки — я не умею читать по-виарнски, и это открытие, которое я делаю прямо здесь, у шкафа, и которое ужасает меня больше, чем всё остальное. Я неграмотная. Впервые с четырёх лет.

Он замечает и никак не комментирует. Просто с этого момента читает вслух всё подряд, без просьбы, будничным голосом, как читают в дороге вывески.

Я нахожу это на исходе второго часа.

Ящик из тёмного дерева, ярлык — четыре знака.

— «Ведьмин корень», — читает Айрен. — Ещё говорят «волчья репа».

Я поднимаю крышку.

И меня будто бьёт током.

Тот самый запах. Горьковато-травяной, тяжёлый, с плывущей сладкой нотой в конце. Из желудка Онории ан Бесс.

— Это оно, — говорю я.

Внутри — тёмные плотные ломтики сушёного корня, штук двадцать.

— Что вы про него знаете? — спрашиваю я.

— Малой мерой дают при падучей и при болях. Большой — не дают.

Я не трогаю корень голыми руками. Поддеваю ломтик ложкой, соскребаю крошку в воду и растираю другой ложкой. От влажного сырья поднимается тот же тяжёлый запах, который был в желудке Онории.

— Похоже, я понимаю, с чем имею дело, — говорю я.

— «Похоже»?

— Я не стану проверять неизвестный смертельный корень языком. Но запах, онемение, рвота и сорванный ритм сердца складываются. Такие яды нарушают работу нервов и сердечной проводимости. В малой лекарской дозе могут притуплять боль. Чуть больше — дурнота, слабость, опасная аритмия. Ещё больше — остановка сердца или дыхания. — Я закрываю ящик. — Идеальная вещь. Растёт где-то в лесу, лежит в любой аптеке, лечит вполне настоящие болезни, и никто не удивится, что оно здесь есть.

— Насколько его тут не хватает?

Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.

— Много, — говорю я, взвешивая ящик на руке. — Судя по свободному месту, здесь было раза в три больше.

Я достаю из кармана жестяную коробочку, которую не выпускала из виду с кареты.

— Теперь второе.

Айрен вертит коробочку в пальцах и хмурится.

— Лилия поддельная. Королевские аптекари ставят клеймо на дне, а не на крышке.

Внутри двенадцать сероватых пастилок. Я соскребаю с одной крошку, растворяю её в воде, добавляю несколько капель едкого «соляного духа» из подписанной Айреном бутылки и опускаю в раствор начищенную медную пластинку. Подогреваю над свечой. Через минуту медь затягивает стально-серым налётом.

Я повторяю опыт на чистой воде. Медь остаётся красной.

— Это не ведьмин корень, — говорю я. — Мышьяковистая или близкая к ней рудная соль. Этого простого опыта мало для суда, поэтому образец отправите городскому пробирщику и дадите ему чистую пастилку для сравнения. Но моим волосам, животу и линиям на ногтях она подходит гораздо лучше.

— Кто дал вам коробку?

— Марта говорит, её передали от имени магистра перед дорогой. Я принимала по одной каждое утро. Последнюю — на рассвете перед прибытием. С тех пор ни одной.

Айрен заворачивает коробку в отдельный лист, запечатывает своим перстнем и пишет сверху два имени: моё и Марты.

— Её не тронут, пока я не проверю, от чьих рук она получила коробку.

Так у нас впервые появляется не только подозрение, но и вещественное доказательство. И два яда вместо одного.

Айрен снимает со стены толстую книгу в кожаном переплёте.

На корешке, у самого верха, наклеплена восковая нашлапка размером с ноготь. Серая, невзрачная, с тонким оттиском, которого я не разбираю.

Я трогаю её пальцем. Воск тёплый и мягкий, будто его прижали сегодня.

— Это что?

— Печать Ордена, — говорит Айрен, не глядя. — На всех орденских книгах.

— Она мягкая.

— Воск везде мягкий.

Он открывает журнал, и нашлапка бесшумно лопаётся пополам.

Я смотрю на две восковые половинки и почему-то запоминаю их так, как запоминают родинку на снимке: без всякой причины, впрок.

— Журнал выдачи, — говорит он. — По уставу Ордена всё, что берётся из королевской аптеки, записывается: что, сколько, кому, чьей рукой.

Он листает к последним страницам.

И останавливается.

Я вижу, как у него на скуле дёргается мышца.

— Что там?

Он молча поворачивает ко мне книгу и ведёт пальцем по строке.

Я не умею читать по-виарнски.

Но одно я узнаю — потому что позавчера мне пришлось трижды выводить это на бумаге, когда меня вносили в списки Отбора.

Подпись.

Кривоватую, с петлёй на конце.

Мою.

— «Ведьмин корень, — читает Айрен ровным голосом, — три доли. Выдано по прошению леди Виллены ан Торн».

Я смотрю на дату.

Даты я тоже читать не умею. Но цифры здесь такие же, как у нас, — это я успела заметить в тех же списках.

— Какое сегодня число?

— Двенадцатый день осеннего месяца.

— А тут написано?

— Двадцать девятый день летнего.

Я считаю.

Двадцать девятый день летнего месяца. В тот день Виллена была ещё дома. Тридцатого она выехала, девять дней провела в дороге и утром восьмого осени въехала в ворота дворца. Сегодня двенадцатое.

— Это не я, — говорю я.

— Ваша подпись.

— Это не я. Меня тут не было.

— Двадцать девятого вы были в Торн-холле, — говорит Айрен. В его глазах нет ни капли того человека, с которым мы два часа рылись в травах. — Дорожные листы подтверждают выезд на следующий день. Значит, либо подпись подделали здесь, либо вы заранее передали её сообщнику.

— Я даже не знала, где искать эту аптеку.

— А Виллена знала?

На этот вопрос у меня нет ответа.

В аптеке пахнет мятой и воском.

Где-то далеко, за десятью стенами, играет музыка: девушек учат танцевать.

— Вы же сами сказали, что не верите очевидному, — говорю я.

— Не верю. — Он захлопывает книгу. — Именно поэтому вы всё ещё стоите здесь, а не в подвале.

Глава 7. Истории болезни

Первое, что я прошу у Айрена на следующее утро, — бумагу.

Не сведения, не охрану, не разрешение. Бумагу, чернила и стол.

— Сколько? — спрашивает он.

— Двадцать три листа. Нет, тридцать: я буду портить.

— Зачем?

— Затем, что я работаю как умею, — говорю я. — А умею я вот как: на каждого человека заводится карта. Что было, что есть, что меняется. Без карты я гадаю. С картой — вижу.

Он смотрит на меня секунды три и уходит.

Через час мне приносят стопку бумаги, три пера, песочницу и складной столик, который вносят двое.

* * *

Обход занимает два дня.

Я устраиваюсь в оконной нише гостиной — там светлее всего, — и объявляю, что буду смотреть всех подряд.

Первой реакцией становится хохот.

Второй — очередь.

Потому что оказывается, что за всё время в этом дворце ни один человек ни разу не спросил у двадцати трёх девушек, как они себя чувствуют. Их взвешивали, обмеряли для платьев, учили кланяться и проверяли родословную. Про здоровье спрашивали один раз, в первый день, и записывали ответ со слов.

— Раздевайтесь до рубахи, — говорю я первой.

— При всех?!

— За ширмой. Тэйла, держи простыню.

Мы устраиваем ширму из двух простыней и метлы, и это, честное слово, лучшая амбулатория, в которой мне приходилось работать.

* * *

Я записываю всё.

Рост и вес — на глаз, но одинаково на глаз для всех, а это уже сравнимо. Цвет слизистых. Дёсны. Язык. Ногти на всех десяти пальцах — рисую полосы, если есть, отмечаю, на каком уровне. Волосы: провожу ладонью от корней, считаю, сколько осталось на ладони. Кожа. Живот. Пульс — считаю по счёту собственного сердца, потому что часов у меня нет.

И жалобы. Обязательно жалобы, своими словами, как сказали, — потому что человек всегда говорит больше, чем спрашивают.

Тэйла записывает под диктовку. Пишет она как курица лапой, но пишет.

К концу первого дня я знаю про женскую половину Виарна больше, чем знал кто-либо за сорок лет.

Лист третий. Девушка из восточных земель, семнадцать. Ногти чистые. Волосы держатся. Жалоба: «страшно ночью». Диагноза нет, лечения нет, поможет только чтобы кто-то держал за руку. Записываю: положить рядом Юну.

Лист седьмой. Деятнадцать лет, из купеческого дома, приданое втрое больше, чем у всех. Живот. Расспрашиваю подробно, отправляю Тэйлу за дверь и спрашиваю ещё подробнее.

— Пятый месяц, — говорю я.

Она смотрит на меня и не плачет. Просто смотрит.

— Меня убьют, — говорит она наконец.

— Не убьют. Вас отчислят по здоровью, вы уедете, и всё.

И вот тут — впервые — у меня в голове что-то поворачивается не туда. Потому что фраза «вы уедете, и всё» вдруг звучит внутри меня фальшиво, а я не понимаю почему.

Записываю. Возвращаюсь к этому позже.

Лист одиннадцатый. Лиссандра ан Вейр.

Она приходит последней в тот день, садится очень прямо и позволяет себя осмотреть без единого слова.

Здорова. Идеально здорова: розовые дёсны, крепкие ногти, пульс шестьдесят четыре, кожа как из книжки.

— Жалобы?

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

Я откладываю перо.

— Леди ан Вейр, у вас на левом предплечье три старых следа от ожога. Круглые, одинаковые, на равном расстоянии. Так не обжигаются о печку.

Молчание.

— Это не относится к делу, — говорит Лиссандра.

— Не относится. Я и не записываю.

Я демонстративно откладываю лист чистой стороной вверх.

— Спрашиваю не как дознаватель. Как лекарь. Болит?

— Нет.

— Тогда идите.

Она встаёт. У самой ширмы оборачивается.

— Вы всех расспрашиваете, что они пьют, — говорит она. — Уже второй день. Скажите: что вы ищете?

— Того, кому носили отдельно.

— И скольким носили?

Я поднимаю голову.

Вопрос точный. Слишком.

— А почему вы спрашиваете «скольким», а не «кому»? — говорю я.

Лиссандра ан Вейр смотрит на меня без всякого выражения.

— Потому что «кому» вы мне не скажете, — отвечает она и уходит.

Я сижу с пером в руке и очень долго не могу вернуться к работе.

* * *

К вечеру второго дня у меня двадцать три карты, и я раскладываю их на полу гостиной в четыре ряда.

И вижу.

Не то, что искала, — хуже.

Картины две.

Картина первая. Онория (со слов, посмертно), Мила ан Керет, Нея ан Керет. Зрачки узкие. Пульс частый и неровный. Холодные влажные руки. Дурнота по утрам, слабость, «сердце заходится». Ногти чистые. Волосы на месте. Началось недавно — недели.

Это ведьмин корень. Быстрое, нервное, сердечное.

Картина вторая. Я одна.

Полосы на ногтях — три уровня. Волосы лезут клоками. Живот по утрам. Ладони и подошвы шелушатся крупными пластами — я заметила это только вчера, в ванне. Металлический привкус. Всё это тянется месяцами.

Это не ведьмин корень. Это мышьяковистая соль из жестянки с поддельной лилией.

Я сижу на полу среди разложенных бумаг и говорю вслух, потому что иначе не соображу:

— Это разные схемы.

Тэйла, зашивающая чулок в кресле, поднимает голову.

— Чего?

— Разные схемы, Тэйла. Разные вещества, разные сроки, разные способы доставки. Девушек на Отборе травят ведьминым корнем — быстро, через личный настой из аптеки, с номерами на склянках. А меня травили мышьяком — медленно, месяцами, ещё дома, пастилками с королевской печатью.

— И чего это значит?

— Одно из двух, — говорю я. — Либо здесь два отравителя, которые друг о друге не знают. Либо один, который работает на двух этажах.

— А какой хуже?

Я смотрю на двадцать три листа, разложенных на полу.

— Второй, — говорю я. — Потому что если это один человек, то он не убивает по случаю. Он ведёт хозяйство. Одних он готовит дома, за месяцы, по одному рецепту. Других обрабатывает здесь, за недели, по другому. И под каждую задачу подбирает средство.

* * *

Придворного лекаря Гвена ссылают на восточную заставу на третий день, и его комнату опечатывают.

Печать снимает Айрен, при мне, вечером.

Комната у лекаря скверная: тесная, заваленная, вся в склянках без ярлыков. На столе — недоеденный ужин двухдневной давности.

— Он собирался в спешке, — говорю я.

— Его увезли в спешке.

Мы перебираем всё. Айрен читает вслух ярлыки, я нюхаю. Ведьминого корня нет. Мышьяковистой соли нет. Ничего интересного нет вообще, и я уже готова признать, что толстяк-кровопускатель был именно тем, чем казался, — дураком.

А потом Айрен вытаскивает из-под тюфяка книжицу.

Не аптечный журнал. Другую: маленькую, засаленную, исписанную мелко и торопливо.

— Что это? — спрашиваю я.

Он листает.

— Он вёл собственные записи, — говорит Айрен медленно. — Все девять лет. Отдельно от орденских.

— Читайте.

Он читает.

Это скучно первые двадцать страниц: кто чем болел, кому что дали, сколько взяли за визит к придворным дамам. Гвен, судя по всему, был жаден, труслив и на удивление аккуратен.

А потом начинается другое.

«Опять требуют отчёт. Пишу третий за месяц. Не понимаю, зачем ей это, но платят.»

«Отчёт о здоровье всех девиц, поимённо. Кто крепок, кто слаб, у кого что. Каждый Отбор одно и то же.»

«Спросил прямо. Сказала: чтобы знать, кого увозят живой.»

Айрен останавливается.

— Кому он писал отчёты? — спрашиваю я.

Он листает назад, ищет, находит.

И читает ровным голосом, в котором ничего нет:

— «Её величеству вдовствующей королеве Ирелии. Одиннадцатый год».

Глава 8. Первое испытание

Первое испытание Отбора называется «Испытание изяществом», и это, если коротко, экзамен по тому, как быть красивой мебелью.

Три части. Танец. Поклон с приветствием на старом наречии. Беседа с членом Совета на заданную тему.

Я проваливаюсь по всем трём.

Танец я разучиваю четыре дня и за это время выучиваю ровно одно: у леди Виллены ан Торн, помимо страха крови, было чувство ритма примерно как у больничной каталки. Я наступаю партнёру на ногу дважды. Второй раз — так, что он хрипит.

Поклон на старом наречии — это восемь слов, которые надо произнести, опускаясь, и закончить одновременно с касанием колена пола. Я произношу их с таким акцентом, что распорядитель переспрашивает.

Беседа достаётся мне с седым лордом из Совета, и тема у нас — «Долг супруги перед короной».

— И в чём же он, по-вашему, состоит? — спрашивает лорд ласково.

— В том, чтобы корона была здорова, — говорю я.

— Прекрасно сказано. Здорова духом.

— Нет, — говорю я. — Здорова телом. У вас за столом кормят двадцать три девушки из общих блюд, воду берут из верхнего колодца, который стоит ниже конюшен по склону, и в западном крыле у трёх служанок кашель с кровью третью неделю. Если сюда придёт лихорадка, ей будет всё равно, кто из нас лучше кланяется.

Лорд смотрит на меня, как на говорящую собаку.

В зале, где сидят двор, Совет, король и Орден, становится очень тихо.

— Благодарю, леди ан Торн, — говорит распорядитель.

Я возвращаюсь в шеренгу. У Тэйлы лицо человека, который смотрит, как тонет корабль, и не может отвести взгляд.

— Ну ты и дала, — шепчет она с восхищением. — «Ниже конюшен по склону». Вилли, ты нормальная вообще?

— Нет, — честно говорю я.

--- Соперницы проходят его так, что мне становится стыдно за собственные ноги.

Лиссандра ан Вейр идёт третьей и делает то, ради чего четыре года в её доме жил учитель танцев из столицы. Она не танцует — она движется так, будто музыку написали под неё и слегка опоздали. Поклон на старом наречии она произносит с той чуть архаичной оттяжкой, от которой у двух старых лордов делаются мокрые глаза. В беседе ей достаётся тема «Милосердие короны», и она говорит четыре минуты так, что даже я, знающая, чего она на самом деле хочет, слушаю.

Бранка ан Дол идёт девятой и не пытается быть девочкой. Она танцует ровно, спокойно и без единой ошибки, кланяется коротко, а на вопрос о долге супруги отвечает: «Хоронить мужа и не развалиться». В зале делается тихо. Лорд Кест ставит ей высший балл — единственный за весь день, — и потом весь вечер объясняет Совету, что это была не дерзость, а достоинство.

Нея ан Керет идёт шестнадцатой, одна, без сестры, которую уже увезли бы, если бы Отбор шёл своим чередом, — и на середине танца сбивается, потому что фигура парная, а привычная рука рядом отсутствует. Она доходит до конца, но у неё дрожат губы.

Юна вообще не танцует. Она честно говорит распорядителю, что не умеет, что её учили две недели и ничего не вышло, и что она лучше постоит. Это, вообще говоря, провал. Двор смеётся.

Я смотрю на всё это из шеренги и понимаю очень простую вещь: они действительно старались. Каждая из них полжизни готовилась к этим сорока дням, а я приехала сюда девять дней назад из другого мира и сейчас испорчу им праздник, потому что не умею молчать.

Сразу после испытания — приём.

Это худшая часть: два часа стоять с бокалом в руке и быть на виду.

Ко мне подходит король.

Он подходит сам, без свиты, и от этого по залу проходит волна: все делают вид, что не смотрят, и все смотрят.

Вблизи Тэодан ещё моложе, чем издали. У него светлые ресницы и обкусанный заусенец на большом пальце.

— Леди ан Торн, — говорит он и краснеет. — Я хотел... Я слушал вас. Про колодец.

— Простите, ваше величество. Это было неуместно.

— Это было интересно! — выпаливает он и тут же пугается собственного голоса. — Я хочу сказать. Мне никто никогда не говорит ничего, кроме того, что я хорошо выгляжу и что Отец меня хранит. А вы сказали про склон и про конюшни, и я весь вечер думаю, что ведь и правда — склон. Я велю проверить колодец.

— Спасибо.

— И ещё. — Он понижает голос. — Меня зовут Тэодан. Просто. Когда никого нет. Мне так больше нравится.

Он смотрит на меня снизу вверх — он ниже меня на полголовы, — и у него абсолютно щенячьи, доверчивые глаза, и я понимаю с полной ясностью: этот мальчик не жених. Этот мальчик — пациент, которого через десять лет привезут с гипертоническим кризом в двадцать семь, потому что его никто ни разу не спросил, чего он хочет.

И меня собираются за него выдать замуж.

— Тэодан, — говорю я, — вам семнадцать.

— В следующую весну восемнадцать, — быстро говорит он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.